

Милован Ђилас

П Е Р В О Е П Р И Ч А С Т И Е

/перевод с сербохорватского
А.Кавтаскина/

А что, если я не такой памятливый и честный, как Мать думает? Она мне в сумку собрала полдник и сказала: "Гляди, не ешь, пока не причастишься, а то стыда не оберешься...".

А я, голодный и испостившийся - шесть дней пост держу, - забуду и пожую до причастия... Нет, забыться я не могу, могу быть жадиной и врунишкой - поесть и промолчать. Поесть и промолчать, а - Господь-то Бог явится перед всеми и объявит: "Вот он, который оскоромился, а то бы причастился и получил отпущение грехов своих".

Нет, не притронусь, только твержу себе: - Нет, не смеешь ничего в рот взять - ни еды, ни воды, одну слюну - она из тебя, да только и ее не сглотни, покажи, что ты не слабак, что и слюны своей не сглотнешь...

Полдник - это сегодняшний завтрак, но я его зову полдником, потому что в школу я всегда носил полдник, - так вот полдник у меня роскошный и чертовски вкусный, соблазнительный: сливки в кубышке, два яйца, две луковицы, колченое мясо ломтиками и лепешка в чистой трапище. Мать, когда набивала мне сумку, сказала: - Поделись с Родичем - у него, у сиромахи, ничего, кроме сухого сыра и кукурузы. - А я подумал: - Дал бы я Родичу, если б не сегодняшний день, а сегодня Бог всех видит, и это увидит, и мне наперед в грех поставит...

Никак не припомню за собой никакого греха - оскоромиться, вот был бы грех настоящий, непростимый... Ну, виноват я, хоть и не грешен, что все только играл да читал, зато у меня время быстрей бежало после Бабушкиной смерти - словно не прошло уже больше месяца, словно я сам хочу Бабушку забыть... А как Бабушка умерла - никто меня и не поцелует, когда я в школу ухожу. Мать часто только злилась на мое телячьи нежности и, сколько я ее ни просил, не хотела мне даже пожелать: Доброго тебе пути! - Я за уговорами боялся в школу опоздать, а без "доброго пути" уйти не мог, а то какое несчастье случится. Но я знал, что Мать скажет положенное как раз тогда, когда я совсем уж растеряюсь, когда угрязенья, что я опаздываю, и страх, что слу-

чится несчастье, вырвутся из меня воплем. И она уже напоследок кричала: - Ладно, доброго тебе пути! - и это "ладно" знали - она не то, что признает, что больше не сердится, а просто забыла и простила: могу, мол, спокойно и бесстрашно убегать. Но сегодня утром Мать - хоть и укладывался я вчера с непростительными проказами, - сегодня Мать проводила меня до берега, до Реки, пощеловала на прощанье - и поцелуи ее были крепче и горячее Бабушкиных, и пожелала мне, я еще и не попросил: "Доброго тебе пути!"

Рассвет едва мерцает на востоке над городом: мне надо тронуться в путь по темноте и на заре быть возле школы - это и не школа, крестьянская изба на краю села, а настоящая школа сгорела в войну, развалины торчат посреди села, - оттуда, чтобы поспеть к заутрене в далекую церковь, останется примерно час хорошей ходьбы. Но я хоть и боюсь темноты, а иду без боязни: ни волк, ни оборотень, ни злой человек, ни бес не тронут меня, когда я иду к причастию.

С берега спрыгиваю, почти наугад, к Реке. Нашупываю тропинку и иду вверх, продираясь сквозь черный сольшаник. Но на мосту... Едва различаю мост - а он и не мост, а мостик, два бревнышка, сбитые поперечинами из стесанных кольев. Ох, думаю, не зацепился бы верх постола за поперечину, не скользнула бы - гололедица ж! - подошва. Надежно надо нашупывать ногами, упираться... Река бурлит - тут бы и хороший пловец утонул, куда там ребенку: а я, все говорят, еще ребенок, хоть мне летом и пойдет девятый год...

Прежде чем ступить на мост, я обрачиваюсь к берегу, хоть и знаю, что Мать поспешила по делам и не могла бы мне помочь, если бы и увидела, что я упал в Реку... Не видать ни Матери, ни берега возле мрачных, непрогладных холмов...

И должен я один-одинешенек идти, куда следует идти.

Но Река словно меня узнала - вззволновалась и встречает бурливо-гостеприимно, а мост безобманно предупреждает мои ноги о скользкоте и перекладинах... Главное - пройти до середины моста; остальные пять-шесть перекладин перелезть - и быстрей, и безопасней. Я не упаду в реку: я осторожен, как только может живое существо, а грехов я столько не совершил, чтоб за них со мной такое приключилось.

И вот я, радостный, на том берегу: живо взбираюсь по стекосу, хоть в лесу ждут меня потемки, а в потемках подстерегают и перекликаются звери и приведения. А, перекрещусь, когда буду входить в лес, — крест, говорят, бережет и спасает от всякого ~~ш~~ зла и всякого призрака... В лесу еще и толко: намочу, запачкаю новые постолы и чулки из мягкой мытой шерсти, осторожно ступать, как сейчас, не сумею...

Взобравшись наверх, уже в лесу, останавливаюсь, будто бы передохнуть, а по правде — прислушаться. Тихо — словно лес соговорился против меня с разбойниками и зверями... Лучше не думать, не прислушиваться...

Но, когда я останавливаюсь в лесу, отыскивая нащупь дорогу, с радостью узнаю тоскливо уханье совы, визгливую перекличку белок в буковых дуплах. А я сам устраиваю самый гулкий, самый неслыханный шум: шлепаю по грязи, шуршу листьями, похрустываю по валяющимся сучьям. Но путь нахожу безошибочно: мне нельзя заблудиться, я иду к причастию.

Вхожу в самую чащу, в самую топь. Нащупываю камни, чтобы не утопить обутку... И тут, именно тут, неожиданно, неизбежно, слева надо мной ломается ветка. Я замер на камне посреди болотца: в лесу так все страшно затихло, только слышно, как потряхивает лес от моего страха, как у меня колстится сердце... Я еще на краешке чащи, лучше бы всего бегом и обратно — когда бежишь, не так боишься — хоть бы и не до самого дома, а до первой прогалинки, и там подождать, пока разъяснится. Но тогда я опоздаю. Знать бы, что сломило ветку! Тишина и темнота непроглядные. Мои поиски дороги разбудили Нечто, это Нечто сломило ветку, а потом притаилось, стережет меня, ждет, пока я двинусь, чтобы двинуться за мной, на меня. Нет, мне нельзя опоздать — сколько сраму было бы, как бы я объяснялся? Надо, надо — во тьму, в чащу!.. Я делаю первый нетвердый шаг в тишине, которую долбит шум крови в ушах — нет, это Нечто еще меня не слышит. Потом быстро и легко, все легче, ступаю несколько шагов, добираюсь до сухого места и снова прислушиваюсь: по-прежнему тихо, хоть Нечто могло двинуться и остановиться, когда и я, а я его не слышал за шорохом своих шагов. Почему меня Мать не проводила через лес? Она не может дом оставить, скотину, и брата, и сестру. Не умерла бы Бабушка, была бы Бабушка жива — она бы и осталась дома. А может, может Бабушкина душа защищает и хра-

нит меня? И вдруг я догадываюсь: Ах, всё оттого, что я, входя в лес, забыл перекреститься – думал про всякое, про хорошее и страшное, вот и забыл. – И я поворачиваюсь туда, где Оно должно быть, и крещусь три раза, словно говорю: – Гляди, я крещенное творение, сгинь, оставь меня в покое. – И я делаю первый, медленный шаг, потом убыстряю и иду как можно обыкновенней.

Приходят в голову озорные, приятные мысли, а с ними и уверенность... Я остановился еще несколько раз, но уже без умысла – сумку поправить, обутку подтянуть. Беличий визг меня обрадовал, словно я старого знакомого встретил... В конце концов, я задумался: – Чего мне было бояться? Я же к причастию иду, нет такого зла, которое мне в этом посмело бы помешать.

В раздумьях, в размышлениях все растаяло: лес и страх, это самое Нечто, дам и Бабушка... Бог все видит и всем правит. Мне сегодня предстоит соединиться с Ним – отхлебнуть и откусить от Сына Его, Который Собой пожертвовал, чтобы искупить грехи людские и счасти род человеческий... Непонятно мне, как можно откусить от кого-то, кого тут нет, и как искупают своей жертвой чужие грехи. Но это не так! Во-первых, все в это веруют и мне эту веру передали, а главное, что люди, и я с ними, живут во зле, среди злых сил, которые бы нас совсем подчинили, если бы добрая сила нам не помогала. Пускай оборотни и упыри, русалки и лешие с пути человека сбивают, бесы его душу искушают, волки и медведи, дикие лошаки и быки его подстерегают, змеи шипят на него из своего логова. Человек все время, то ранится, то ударится, о камни спотыкается, в воде тонет и в огне горит, дождь его мачит и солнце палит, мороз леденит и ветер до костей пробирает. Рога, клыки и зубы, колючки и жала отовсюду, со всех сторон. Как бы человек отился, если б не помощь добрых сил, которые во всякой твари есть, во всем живом, в зле самом, они за человека, они его хранят – если он честный и разумный, и все равно идет к ним за подмогой. Бабушка утопленников вызывала и стучала клюкою в камень, разговаривала с камнем, и с деревом, и заговаривала их, а Мать все повторяет: – Кто честный, тому нечего бояться. – Правда это, что Мать говорит: будь честным, хоть бы и не легко это давалось. Но надо, чтобы Бог помогал человеку. Мимо Бога ничего не проходит. Он все может. И Сына Своего послал, людям в искушение. Но люди Его распяли, а теперь вкушают Тело Его и Кровь – Жуки Его,

чтобы прощение получить, чтобы соединиться с Богом...

Война кончилась, австрийки отступили прошлой осенью — пока они, чужаки, были в нашей стране, причастия не было. Но будто и не кончилась война — леса полны мятежников, их дома жгут, их сообщников до смерти забивают. Причащаются ли австрийки? Бог и о них заботится, так что, наверно, да. А наши, бунтовщики и гонители? Они причащаются, чтобы как будто больше не грешить... Но им приходится грешить: одни других преследуют и убивают. Еще их Бог не смирил, еще в них зло крепнет...

Тут я соображаю и замечаю, что и я немало грешил. Даже в эту неделю поста, подготовки к причастию. И это верный грех, и несднократный! Случалось это всегда как-то невольно: начну защищаться от чьих-то жалоб и мадо-помалу начинаю лгать. Черт попутал — но иначе я не убедил бы Мать и не избежал бы битья! А как с ребятами не драться, когда они такие подлые — они бы мне глаза выщипали и почки отбили бы, если бы я не защищался!

Теперь я искренне каюсь за свиси грехи. И все их виду перед собой — не по отдельности, но собранными в ощущимый космок гречности. И весело выхожу из лесу, поскакивая с ноги на ногу, в белую слепящую зарю.

Я не забылся — ничего не ел и не пил. А могло такое случиться, особенно когда в лесу меня Нечто испугало, — я тогда, пока не помолился, ни о чем не думал, кроме как спастися. Да, наверно, это был дьявол — он сломил ветку, чтобы я запамятаовался и откусил бы от мяса и напился бы из ручья. Но Бог уберег мою память, а Его ангелы хранили меня. От этого-то я теперь веселый, а не оттого, что я вышел на простор из мрака.

Еще оставалось обогнуть курган Арапову Могилу, и я буду возле первых домов села... Но это не пустяк: Арапова Могила — это и вправду могила одного такого Арапа, что всевал здесь и погиб; был он, конечно, черный и трехголовый, как в народной песне, и сердце бы остановилось, и память бы оставила, появившись он даже живым, а не привидением. Но, по счастью, я не знаю, где его могила, а ~~живший~~ значит, не знаю, где мне пугаться, да уже где-то и петухи петь начинают, только я их из-за кургана не слышу, — злые духи разлетелись...

У меня два учителя — старый и молодой. Старый нам приказал принести цветы сегодня. А молодой — молодой ничего не приказал. А мы, дети, знаем почему: он коммунист — в Бога не веру-

ет и к причастию не пойдет. Мне больше нравится молодой: он нас никогда не бьет, хорошо рассказывает, не смеется над нишими и дурячками. Жалко, что он нас не будет водить в церковь: может, поэтому я и забыл взять цветы...

Хорошо, что село наше под горой, на берегу большой реки, хоть и нету в нем самого лучшего весеннего цветка - яблана, купальницы. Светло-желтый, недолговечный, нежно и сильно пахнущий цветок: он так разрастается, что горные пастбища, еще темные и мерзлые после таяния снегов, истекают золотым ароматом. Есть и дерево-яблан, - не яблоня, а тополь, стройный и высокий.. Когда Бабушка хотела погордиться мной и в то же время поддразнить меня, говорила обычно: - Яблан ты мой! - Так я теперь и не знаю, а спросить кого-нибудь стыдно, про тополь Бабушка думала или про купальницу...

Весенние цветы - хрупкие и слабо пахнут. Анемоны и подснежники отдают промерзлой землей, ландыши ударяет ароматом горькой зелени. Кое-где нахожу фиалку, убежавшую от колючих зарослей, и украшаю букет ее голубыми глазками с желтыми зрачками.

К школе я прихожу вовремя - еще и половины школьников не собралось, и только пять-шесть пришло с цветами. А которые не принесли - говорят: - Чего бы это цветы? - Старый учитель будто и забыл, что велел принести цветы. В наших краях цветы никто не растит, ароматные и лелеемые цветы встретишь только в песнях. А все-таки с цветами лучше - сегодня-то. Друзья мои удивляются, как это я поспел так рано, да еще цветов набрал: я бы похвастался ранним своим вставанием да молодечеством, когда бы это не сегодня. Невольно скромничаю: Мать, мол, по темноте разбудила...

А Родич мой опоздал - как всегда. Не стоило бы мне идти с ним в паре: он плохой ученик, хоть мог бы быть из лучших, и большой плакса, хоть сам затевает ссоры. С ним приятно дружить, когда никто не видит - он такие тогда проделки выдумывает! Но сегодня - сегодня никого не нужно избегать: я становлюсь рядом с Родичем, хоть и боюсь, как бы он не втянул меня в какую-нибудь проказу до причастия.

Я думал, что никто, кроме меня, не чувствует, что сегодня с нами произойдет нечто судьбоносное, такое, что больше не повториться, но укрепит в сопротивлении греху и злу. Однако, и другие вымыты, одеты в чистое, глаза блестят, и - это особенно

видно — внимательны и добры друг к другу. Все во всем сдержаны, даже ступают так, словно боятся земле больно сделать.

И учитель в хорошем настроении: нет, сегодня он никого не ударит. Мы уже построились парами и направляемся к церкви. Учитель говорит: — Берегите цветы те, кто принес: украсим иконы в церкви...

В нашем селе нет церкви — я никогда не был в церкви. Но я знаю из чужих рассказов и своих размышлений, как выглядит церковь и чему она служит. В ней люди собираются на свидание с Богом. Бога не видно — Он невидим, но когда они собираются помолиться и когда простят друг другу все, что плохого подумали — Бог сидит среди них. Церковь — вроде как большой каменный дом, и вся изрисована ликами ангелов и Божих угодников — человека жуть берет, хоть они ему только добра желают.

Путь до церкви тянулся долго-предолго, как всегда, когда идешь по новым местам. Дорога широкая, грязная, дома ближе друг к другу, чем в нашем селе. Вокруг поля, все одинаковые, спускаются к белым бордам реки. И гора здесь ближе — начинается от равнины и отвесно поднимается в небо.

Церковь поднимается среди равнины и на виду. На взгорке недалеко от церкви — общинное правление, здание, которое мне показалось огромным. Тут же около церкви и правления жители собираются на сходы. Сама церковь кажется мне маленькой и низкой — рядом с правлением и по сравнению с тем, что я ожидал. Зато она вся из тесаного камня, сверху донизу. Австрийки не сняли с нее колокола, им, говорят, было слишком далеко тащить его до проселочной дороги. Вот я и колокол слышу: люди рассказывают, что нету голоса милее — он к Богу взывает, и им Бог гласит.

Возле церкви уже собралось много крестьян, выстроились школьники из ближайшей церкви. Церковные врата открыты, оттуда выходит долговязый лысый человек и говорит: — Попа нет, а пора начинать! — Меня это поражает. Слышно ворчание крестьян и хотят школьников. — Значит и служба Божия может опоздать? — спрашиваю сам себя и думаю: — Это ведь не такая работа, как какая-нибудь другая, можно бы и без попа: соберутся люди в церковь, на священное место, и молятся Богу...

Но вот и Поп появился, на буром коне. Я его узнал — он к

нам в дом приходил. Он высокий и очень красивый — борода желтая, как скандарский табак, а глаза золотые, как дукаты. Выпивает, — это я заметил, когда он был у нас дома. И женшин любит — об этом рассказывают и по-разному на это смотрят. Но опаздывает он не из-за этой слабости: приход у него большой, десяток рассыпанных сел, а он один-одинешенек. Лысый принимает коня и привязывает его к изгороди перед низеньким домишкой. Этот домишко, я слыхал, корчма: тут идет выпивка — кое-кто напьется и после причастия.

Сначала пускают в церковь нас, школьников. Переходя порог, мы крестимся; я возбужден и как-то радостно перепуган. Нас встречает дрожащее сиянье свеч и запах чего-то застоявшегося, но приятного и вызывающего смиление. Перед нами из полутьмы возникает стена со святыми: у них мечи и конь: все это жалко и неярко, и нарисовано на глянцевой бумаге — чуть лучше, а то и не лучше, чем иконки в деревенских домах, купленные у книгонош. Но это, пожалуй, неважно: святые тут не для того, чтобы блестеть, а чтобы людям помогать. За ними слышно движение, потом с правой стороны отворяется невидимая дверца и выходит чернобородый тощий монах в черной епитрахили. Монах зажигает свечой свечи на высоком деревянном столбе — он это делает, как делал бы любую другую работу. Я все-таки побаиваюсь этих неуклюжих бумажных святых: сквозь их неотступные глаза посматривают откуда-то с неба те настоящие, строгие и всемогущие, хэть монаховы движения и напоминают мне, что все обыкновенно, как всякое людское дело. Я осторожно осматриваюсь, разглядываю внутренность церкви: стены голые и заканчиваются сводом. Школьники и народ быстро заполняют и без того тесное помещение... Я заметил, как старики, те, что еще носят оружие на поясе, оставляли револьверы и ножи на паперти, возле церковных врат. Это мне нравится, трогает меня. Это выглядит чем-то особым, неслучайным: вот, существует место, где и молодецкие воины откладывают оружие, где и кровного врага люди не боятся...

Нас, школьников, все время проталкивают вперед: теперь я гляжу на святых снизу, но они на меняглядят неотступно, по-прежнему прямо на меня. Учитель показывает нам круг из тесаного камня, посередине перед алтарем, и тихо предупреждает: — Богородицкий круг, смотрите, не наступите! — Да, я об этом слышал,

хотя этот, едва отличимый от остального фона, не внушиает той уверенности, что в рассказах: кто, мол, кроме священника, станет на этот круг, под тем земля отворится и поглотит его или так уродливо искалечит, что народ на него будет пальцем указывать: - Вот он, тот, что побывал на том свете!..

Цветы, конечно, оказались лишними - нечего тут ими украшать, даже если бы мы могли достать до икон. Учитель подает нам знак разбросать их по полу: - Пусть пахнут! - Но их запах не слышен за ладаном из монаховой кадильницы.

Наконец, по незаметному сигналу, всякое движенье прекращается, всякий шепот смолкает. Из-за святых, из алтаря, раздается мощный и мягкий голос Попа.

Поп произнес слова, точного значения которых я не знал, хоть многое запомнил из молитв и из всей службы. Но эти неясные слова какой-то особой силой заставляли меня воспринять их и даже понять. Монах то входит, то выходит через боковую дверцу, а иногда отворяет Попу. Откликается пением лысий крестьянин из-за высокой деревянной загородки справа от меня... Был бы здесь мой отец, припоминаю, он бы пел вместо этого сиплого и бесслухого плешища. Но он где-то далеко, на воинской службе: я только раз слышал, как он пел - в праздник святого Саввы.^{x)} В селе его хвалят: - Лучше иного попа! - Пел отец тогда красиво, хоть и слишком громко: подвыпивши был, хотя вообще пьет мало...

- Боже, прости мне, что вспоминаю отцовские слабости!..

Литургия тянется долго. Она все непонятней, тем более, что я уже как будто и не среди людей: намалеванные святыеглядят вопросительно, отворачиваются и с трепетом листают своими костлявыми пальцами книги и мои помыслы. И хотя Богородица - румяная молодица в синем платке и с младенцем на руках - с блаженным смехом прощает все наперед, я именно перед ней вспоминаю все свои прегрешения - Какие, которые? - твердые и неискоренимые. Едва решаюсь глянуть на распятого Христа, воздвигнутого над всеми святыми: склоненная вправо голова ранит из полутьмы блаженной болью, в то время как из разутых ног, мерцая, сочится кровь. Нет, Его я не боюсь - только страшно, что Его боль

^{x)} Память 12 января. Св.Савва (+1237) - первый сербский архиепископ.

заставит меня разрыдаться... Зачем, зачем Его должны были распять, мучить?.. Сыне Божий, не дай мне погубить себя, не дай опозориться...

Пение унесло меня в багряный туман, где нет никого и ничего, кроме сладких чар. Но два святых посередине алтаря вдруг скособочились, и каждый открыл свою половину дверей: вышел Поп, размахивая кадилом и сеивая нас незнакомыми, но понятными словами, он наплывал золотыми ризами, внимательно-строгий – словно сошел с одной из икон. Все быстро стали креститься, и я тоже, хотя и был недоволен: не успел загадать желание.

Скоро начнут причащать нашу школу... Мне повезло: обряд начинается не с меня – увижу и запомню, как надо держаться...

И все-таки, когда доходит до меня, я весь дрожу, и мне кажется, что я поскользнусь и упаду. Монах вкладывает мне кусочек хлеба в рот, а Поп вливает ложечку кислой красной жидкости и вытирает мне полотенцем подбородок, на котором и так не было ни капельки: говорят, куда упадет капля причастия, там огонь вырывается.

Теперь, после того, как я ожидал, что все мое бытие будет иным, я сразу прихожу в себя: – Ну, в самом деле, я не храбрый и не был храбрым. А вино – я слыхивал, что оно кислое, но не мог поверить, что Христоса кровь терпкая и – возможно ли? – неприятная. А чудно: ничего со мной не случилось, тот же самый, что и раньше был...

Обряд показался мне заурядней, чем по рассказам. Но, с другой стороны, появилось нечто новое и приятное: различие между мной и взрослыми, которое я раньше принимал, вдруг стерлось, навязанное и беспричинное, больше я не буду стесняться спрашивать взрослых обо всем, что придет в голову.

Так я узнаю, – в ожидании обеда, пока причащаются остальные школьники из моего села, – чьи это могилы из тесаного камня на кладбище возле школы. Это были вожди племени – устабаши, священники, богатеи: сабли, гербы и ордена вырезаны возле их имен. Сам разбираю надписи на крестах, не очень-то четкие; из того, что запомнилось: одних убила рука злодея, другие пали в бою, а некоторых сожгли заживо, потому что они срубили по десять, по двенадцать, а то и по семнацать турецких голов.

Крестьяне и школьники, выходя из церкви, идут к могилам

своих родных и предков. Но никто не плачет, не нарекает — не такой сегодня день. Повсюду развязывают сумки и прямо здесь, на надгробных плитах и на краю кургана, принимаются за еду — словно и мертвые присутствуют на трапезе после причастия. Здесь нет могил моих предков — мой отец переселился издалека. Меня до сих пор охватывал озноб, даже отвращение, на нашем сельском кладбище, среди могил, — каждый раз. А здесь мне эти могилы близкие, свои уже. Оттого ли, что у племени этого героическое прошлое, скатое в надписях и живое в этих людях? Или причастие сблизило меня с людьми, мертвыми и живыми, хоть и не моего рода и не моего села?.. Хорошо, славно лежать в одной из таких могил, встречать внуков и правнуоков, и незнакомцев и слушать, как они считывают с камня твою жизнь и твои заслуги...

Сел и я — когда принялись обедать — и на незанятую, заросшую могилу. Позвал и Родича. Серые в крапинку, навыкате глаза и налезающие друг на друга зубы придавали его смеху озорство: — Я ел, — говорит он, — но только немного сыра и хлеба, — Как ел? — удивляюсь я. — Ртом, зубами, — щерится он. — А причастие? — изумляюсь я по-прежнему. Он ловит вопрос на лету: — А причастие проглотил на сладкое...

Я не спрашиваю его: — И ничего с тобой не случилось? — По его сорному выражению лица я вижу, как насмехался бы он над таким вопросом. Я ем — за него и за себя. Надо бы сказать о нем Учителю, а может, и Попу. Его бы побили: может быть, совершили бы над ним какие-то обряды — освободить его от греха. Но я не могу рассказать — не хочу быть доносчиком! — Это грех, великий грех! — говорю я сурово. И прибавляю, в надежде ради него и ради себя: — Ты от голода забылся? — А он, серьезно, чуть не плача: — Нет, я не был такой уж голодный. Просто не мог удержаться, подмывало меня, подмывало, не мог удержаться...

И меня подмывало, но не голод, нет... И сам не знаю, что: запрет, любопытство, упрямство... Одни могут удержаться, а другие — нет. А почему? И почему Бог не помешал — не заморозил челюсти, не вывернул рот на шею, не очистил память?

Ничего не поделаешь. Я Родича браню, но не очень сильно. А он: — Что было — то было!

На это его "что было — то было" я ствечаю, не пытаясь сдержаться. Откровенный гнев охватывает меня: — Это нехорошо, это

некорошо! — кричу я. А он, тихо и с невеселой усмешкой: — Не сердись на меня! И я знаю, что это некорошо, но — не поправишь.. — Я вдруг успокаиваюсь и с недосумением заканчиваю: — Молись Богу, чтоб Он тебя простил, — нынче же вечером, когда ляжешь и никто тебя не видит. — А си, неуверенно: — Ну, Богу-то я помолюсь...

Потом на поляне, пsonже церкви, были игры. Но я не участую, не только потому, что я из младших и самых неразвитых, просто сам не хочу — сижу и размышляю про сегодняшний день... В конце концов, мне надоедает зрелище игр и я ухожу к могильным надписям. Они мне еще ближе, но как-то неодолимой смертной близостью. И я думаю, как хорошо, как славно лежать в такой каменной могиле, — вот тебе, пришло в голову, и желания, непостижимые...

И я тихо плачу — от тоски и счастья, от восторга и недосумения...

Ночь прихватила меня возле Леса. И было мне страшно, еще как. Я придумывал, что скажу Матери, когда она спросит, один ли я шел сквозь лес, — солгу, но так, что это могло бы быть и правдой: — Одному мне было неприятно! — Так и взрослые говорят...

Но вечерний страх — не то, что утренний. Деревья, и камни, и леса отделены от меня, и я их внимательно испытываю как что-то такое, что может, но не обязательно, принести мне зло...

Начал ли я с сегодняшнего дня так глядеть и на людей?
